

---

Т. Е. СТРОКОВСКАЯ

## НАУЧНАЯ ЭТИКА В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СЛАВИСТОВ XIX ВЕКА

*Статья посвящена этическим взглядам славистов середины XIX в. как в научной деятельности, так и в сфере частной повседневной жизни. В динамично меняющихся условиях функционирования науки и взаимодействия ученых особенно актуально обращение к периоду, когда только формировались этические нормы научного сообщества. Этический кодекс ученых проясняется через изучение научной и личной переписки славистов Российской и Австрийской империй. Анализируются взгляды ученых на вопросы научной объективности, приоритета, соотношения личных и исследовательских интересов и предпочтений, а также взаимодействие с государственной администрацией. В качестве источников использованы научная и частная переписка, а также архивы.*

**Ключевые слова:** *этика, научная объективность, приоритет и авторское право, лояльность, корпоративная солидарность, гражданская и политическая позиция, повседневность.*

Нормы и навыки научной этики – критерии объективности, социальной, политической независимости и профессионализма – формировались в России в середине XIX века. Исследователи не ограничивали круг своих научных интересов узкой специализацией. Например, слависты включали в предмет занятий славянскую литературу, подразумевая как собственно произведения письменности, так и историю, культуру, этнографию и даже географию.

Собирание, сохранение и публикация рукописей также входили в круг интересов ученых-гуманитариев, единодушно признававших, что научная истина есть нравственная категория, что нужно придерживаться объективности, не уклоняться от истины под влиянием личных предпочтений и говорить правду о действительном положении славян. Способность критически взглянуть на собственные результаты и выводы, отвергать или исправлять собственные суждения, если с течением времени появлялись новые источники, факты и сведения, убеждающие в необоснованности первоначальных выводов, признавались необходимой частью научного мышления.

Ценность работы ученого полагалась «в целом, и в методе исследования, а ничуть не в отдельных фразах и утверждениях, которые со временем могут стать ошибочными, как и человеческое знание в силу своей природы» (Письма... 1895: № 47).

Например, научные этические принципы чешского ученого П. И. Шафарика не позволяли ему следовать принятому среди его современников и коллег обычаю ради воспитания патриотизма и национальной чести выбирать из ранней истории своего народа только те события, которыми можно гордиться, или отзываться о прошлом исключительно с похвалой как о героическом периоде. Когда чешские коллеги выражали недовольство, что среди славяноведов чешский язык не признается самым благозвучным из славянских и таковым считается русский язык, Шафарик возражал: «Я не желаю, чтобы мы друг другу лгали или ласкали сами себя неправдою» (цит. по: Кулаковский 1897: 25).

Научные дискуссии достигали порой такой остроты и драматизма, что выходили за профессиональные рамки и затрагивали вопросы персональной этики. Это иллюстрирует и история конфликта князя М. А. Оболенского, главы архива МИДа Российской империи, и его сотрудника и протезе В. М. Ундольского. «Возникшие неудовольствия между Ундольским и Оболенским заставили первого оставить службу в архиве. Одной из причин была и библиография», – свидетельствует Н. Т. Барсуков (1880: 9). Ундольскому, опытному коллекционеру и авторитетному знатоку старопечатных книг и рукописей, казалось, что князь переплачивает при покупке рукописей, историческая ценность которых незначительна. Свое мнение он высказывал открыто, что случалось довольно часто и сильно задевало князя.

Научная конкуренция в исследованиях подогрела конфликт. По заключению исследователя Санкт-Петербургских архивов И. П. Медведева, основанному на анализе подборки писем Ундольского к А. А. Кунику, «опубликованная в свое время кн. М. А. Оболенским статья о синодальном греческом списке Георгия Амартола и о славянских переводах хроники, вызвавшая оживленную дискуссию и снискавшая князю ученое звание члена-корреспондента Академии наук, написана, в значительной своей части, В. М. Ундольским» (Медведев 1996: 804). Ему принадлежат наиболее удачные разделы и выводы, впоследствии подтвержденные другими учеными, а слабые места, неоднократно подвергавшиеся критике, написаны «решившим проявить свою ученость Оболенским» (Там же: 804).

В частности, Ундольский был категорически не согласен с заключением Оболенского о двух редакциях «Хроники Георгия Амартола». Он настаивал на существовании двух самостоятельных греческих хронистов с именами Георгий, а Оболенского язвительно называл «открывателем Амартола» (Истрин 1922: 119–121). Ундольский настаивал, что известные на тот момент сербский и болгарский переводы сделаны с разных греческих списков. Последующее изучение этого вопроса показало его правоту. К тому же он публично упрекал своего покровителя и начальника, что тот пользуется лаврами исследователя греческих рукописей, «не зная доселе ни альфы ни виты по-гречески и даже по-латыни» (цит. по: Медведев 1996: 806).

В результате разногласий в 1848 году В. М. Ундольский вынужденно оставил должность в архиве МИДа и место управляющего в доме Оболенского. «В мае 1848 г. расстался с Принцем Куявским [постоянное прозвище Оболенского в устах Ундольского. – Т. С.], уехав от него в 3 часа утра, и, разумеется, подпал его опале... Я весь польсел и к пущему удовольствию в половине ноемврия был представлен великодушным открывателем Амартола в отставку с тем, чтобы и впредь никуда не определять!», – пишет Ундольский П. С. Билярскому 5 сентября 1855 года. Лишившись службы у Оболенского, он потерял и постоянный доход – 1000–1100 рублей в год (ОР РГБ. Ф. 51. № 8. Ед. 26).

Дилетантизм и поверхностные суждения, а также утилитарный подход или идеологизация науки считались недостойными истинного ученого. Сосредоточиться на предмете исследования и, не распыляя внимания, доводить начатую работу до завершения советует П. И. Шафарик в письмах О. М. Бодянскому. «Пытливости никогда нет предела, каждый день выносит на свет новые истины, – пишет он младшему российскому коллеге, – жаль, что Вы обращаете столько внимания на такие мелочи и этим отвлекаете себя от окончания своих работ» (Письма... 1895: № 47).

В свое время Шафарик не принял профессорства богословия в университете Прессбурга, объясняя, что убеждения мешают ему быть «усердным» богословом, а неусердным он быть не может и не хочет. Важным аргументом против согласия на эту должность было и то, что преподавание не оставило бы времени на занятия славянской литературой, а также отсутствие интереса к богословию и знания языка. Он писал: «По-еврейски я теперь и читать не умею, а ведь должен учить еврейскому языку» (цит. по: Лавров 1897: 22).

Знание языка источника или изучаемого региона было одним из критериев профессионализма и правомерности суждений. То обстоятельство, что П. И. Шафарик не знал русского языка, стало одной из причин его отказа занять должность лектора кафедры славяноведения в Московском университете, куда его неоднократно приглашали. Он считал неэтичным читать лекции по славистике русским студентам в России на каком-либо другом языке, кроме русского. Этот принцип в равной степени действовал и по отношению к другим славянским культурам. Поэтому, живя в Нови Саде, он довольно быстро овладел сербским языком.

Именно языки, а не конфессии или политические системы составляли главное различие между славянами Европы. В вопросах знания языков ученые-слависты были солидарны и очень щепетильны, так как считали язык главным достоянием культуры нации и одним из факторов ее идентичности. Обязательными для изучения считались церковнославянский, русский, польский и чешский языки, полезным признавалось знать сербский. Первенство отдавалось древнеславянскому (который отождествлялся с древнеболгарским), русскому и польскому языкам (Лавров 1897).

При многообразии славянского мира, его языков и культур, при условии, что славянские народы проживали в разных государствах и проходили различный исторический путь развития, залогом сближения могло стать, по мнению ученых, знакомство с языками и историческим прошлым друг друга. О. М. Бодянский, например, обещает в письме к Погодину от 6 декабря 1838 года: «Я не вернусь к вам без того, чтобы не говорить на всех нынешних славянских языках, это необходимо для живого и плодоносного знания славянщины, иначе все будет мертво» (Письма... 1880).

Зима 1837–1838 годов выдалась в Европе очень холодной, температура в Праге держалась ниже  $-25^{\circ}\text{C}$ . За это время, не имея возможности путешествовать по Австрийской империи, Бодянский в совершенстве выучил чешский язык. В письме из Пешта он, отмечая активный интерес сербской диаспоры к общению с представителем российского общества, пишет: «Теперь я болтаю беспрестанно по-сербски и надеюсь, через месяц-два овладеть им также как чешским, польским и словацким... К немалому удивлению самого себя успел в теперешнее мое пребывание почти совершенно усвоить себе сербский язык, беспрестанно разговаривая с сербами, толпой приходящими ко мне каждый день, так что в самой Сербии мне уже мало что остается делать касательно языка» (Там же).

Заслуживает внимания позиция Д. И. Зубрицкого, слависта, называвшего себя «галицким русским» ученым. Всю жизнь он прожил во Львове – в то время крупном славянском центре австрийской части разделенной Польши. Зубрицкий сожалел, что в Австрийской Галиции в период с 30-х по 60-е годы позиции русского языка и культуры постепенно слабели. Он констатировал, что среди «галицких русских» в качестве разговорного языка и языка общения чаще использовался польский и даже историю своего собственного края и народа местные интеллигенты легче и охотнее воспринимали на польском языке. Причины этого он видел отчасти в политике австрийского правительства, отчасти в отсутствии потребности самого населения, которое предпочитало адаптацию к господствующей этнокультурной среде сохранению национального своеобразия. Ученые-слависты были убеждены, что успешное понимание и взаимодействие, как персональное, так и на международном уровне внутри одного государства или на межгосударственном уровне, невозможно без взаимного уважения и интереса.

Итак, одна из этических норм ученых заключалась в убеждении, что без овладения языком нельзя адекватно воспринять, осмыслить, изучить и транслировать знания о другой культуре.

Слависты многонациональных империй – Российской и Австрийской – отдавали себе отчет, что избранная ими наука подвергается критике с разных сторон и в зависимости от настроений общества и политической конъюнктуры то приобретает популярность, то теряет ее. «Наш обычный жребий – быть судимыми вкривь и вкось невеждами. Старославянская наука нигде на великом торжище не ценится; в настоящее время веет иным духом, и еще долго веять будет», – пишет П. И. Шафарик и прибавляет: «К тому же в критиканстве везде много пристрастия и преувеличения, как здесь, и на западе, так и у вас» (Письма... 1895: № 81).

Не чужды были ученые XIX века и определенной интеллектуальной гордости, даже некоторой заносчивости. Многие из них считали, что наука – удел избранных и ученые составляют элиту общества. Исследовательская деятельность объединяет их в особенное сообщество со своим этическим кодексом. Слависты старшего поколения утешали в письмах своих младших коллег, призывая их к терпению в меняющихся обстоятельствах и сохранению преданности избранному предмету в таких выражениях: «Будемте спокойны, раз только разумнейшие, критичнейшие и справедли-

вейшие люди ценят основательные труды на поле излюбленной нами науки» (Письма... 1895: № 81).

Российский ученый, заведующий рукописным собранием и библиотекой Румянцевского музея в Москве А. Е. Викторов, чрезвычайно высоко ценивший образованность, интеллект и научные занятия, считал, что в современном ему российском обществе интеллектуалы должны объединяться независимо от политических убеждений и общественного положения. Даже его отношение к посетителям библиотеки музея зависело от того, насколько серьезны были их намерения заниматься. Обычно Викторов проявлял участие и внимание к читателям, всячески опекал начинающих исследователей. Но «стоило убедиться, что такой-то читатель приходит не для занятий, а ради любопытства или чтобы повидаться с приятелем – тогда прощай всякая благосклонность! Алексей Егорович становился суров, придирчив. Он выживал такого посетителя» (Некрасова, Викторов 1884: 427).

В 1870-е годы Викторов неодобрительно относился к увлечению молодого поколения университетских выпускников переселенчеством на новые земли, в том числе в Америку, для занятия там фермерством или физическим трудом. «Зачем же учились они? – недоумевал Викторов. – Лучше уж уроками добывать хлеб у себя дома, чем ехать за три моря, чтобы иметь удовольствие быть пахарем... Умственный труд и физический на одну доску ставят, и ни во что – подготовку к первому, стоящему десятков лет» (Там же: 441).

Таким образом, уважение к образованности было этической категорией. Отрицательными свойствами считались небрежное отношение к исполнению своих обязанностей в области народного просвещения, беспечность, леность в занятиях, грубость нравов, излишний темперамент, политизированность, неразборчивость в средствах ведения полемики и дискуссий, переходящих в борьбу и противостояние. Научная этика для славистов включала в себя способность аккуратно и достойно представить результаты своих исследований в изданиях и публикациях. Грамотное изложение и оформление, соответствующее литературным нормам, уже тогда стали непременными условиями и атрибутами научного труда.

Примечательны в этом отношении правила присуждения и выплаты престижной Демидовской премии. Она присваивалась за особо выдающиеся и значимые открытия и труды в области средневековой истории и литературы, но выдавалась частями с услови-

ем публикации открытых произведений и исследований. Известны случаи, когда денежная часть премии аннулировалась, если условия публикации не соблюдались, или даже изымалась у награжденного в случае остановки печати или отказа от издания. Так произошло с премией, присужденной В. М. Ундольскому за открытие произведений Климента Охридского. И хотя комиссия признала причины остановки издания уважительными и сохранила за ученым звание лауреата премии, все же денежная часть была отозвана, а аванс, выданный на издание, пришлось вернуть.

При публикации памятников истории и литературы и собственных исследований внимания ученых требовала не только точность текста, но и аккуратность перевода. О стиле перевода П. И. Шафарик пишет О. М. Бодянскому с долей юмора: «Русские на Вас жалуются, что опять чересчур буквально и недостаточно чисто по-русски переводите. Это нехорошо. Ваша публика и так испорчена, а потому Вы не должны бы отгалкивать ее от чтения серьезных вещей шероховатостью формы. Скорее поправляйте и мой слог, где он недостаточно гладок и плавлен. Приспосабливайтесь к требованиям и желаниям вашего общества, иначе напрасно будете трудиться: читать не станут. У вашей публики иной желудок, нежели у нашей: наша бы сожрала и проглотила и скалу, и пса с шерстью и костями. Сохрани Вас Господь писать и стилизовать речь так, как у нас – нашему ведь обществу все это по вкусу, как будто лучшее лакомство» (Письма... 1895: № 32).

Интересны рассуждения А. Е. Викторова о принципах отбора памятников и технической стороне печати: шрифтах, переводе, языке, бумаге и т. д. Он считал, что публикация древних памятников должна «развивать и направлять вкус читателя, а не примериваться и не угождать ему» (Викторов 1859: 38). Не следует упрощать текст в процессе перевода и редактирования. Неудачным примером издания, по его мнению, является публикация Московской типографией Иосифовского сборника (1643 года), где «предварительно исправлен язык и содержание, т. е. и то, и другое изуродовано» (Там же). Как видим, он высказывает мнение, противоположное концепции Шафарика, считавшего уместным при публикации учитывать уровень подготовленности читателей. Под соблюдением современных требований науки Викторов понимал воспроизведение старопечатных книг и рукописей «буква в букву, согласно оригиналу» (Там же).

Зубрицкий, в свою очередь, очень бережно относился к чистоте русского литературного языка. В этом отношении он высказывал экстремальные взгляды, считая диалектизмы недопустимыми при публикации научных текстов: «Пусть болтает простолюдин, как его мать научила, а язык словесности должен быть один в целом народе» (Письма к Погодину... 1880: 614). Главной заботой ученого при публикации во Львове его труда по истории Галицкой Руси было опасение, что цензоры «заставят переодеть свое сочинение из русского в хохлацко-польское платье» (Там же: 586).

Распространенным было убеждение, что моральный долг ученого – работать исключительно в тех сферах и жить в таких местах, где возможно принести большую пользу науке, не меняя их даже на более выгодные с материальной точки зрения условия. Слависты XIX века не колебались жертвовать многими удобствами повседневной жизни ради любимого занятия наукой. Например, П. И. Шафарик неоднократно отказывался от заведывания кафедрой или должности доцента в немецких университетах и даже в Берлине, куда был приглашен в 1841 году. Не принял он и пост члена совета министерства просвещения в столичной Вене в 1848 году. Отказался и от переезда в Россию для заведывания кафедрой славяноведения в Москве с окладом 4000 рублей, куда его в 1829–1830 годах по линии Академии наук с одобрения Государя Николая I приглашал Шишков, а повторно в 1836 году – Погодин. Правда, чешский ученый был невысокого мнения о Российской академии и не скрывал этого, признаваясь в письме: «Русская академия, по моему мнению, самое жалкое и самое ничтожное учреждение литературного характера, какое я знаю на свете; доказательства у меня в руках» (Лавров 1897: 19).

В начале своей деятельности П. И. Шафарик совмещал преподавательскую и научную работу. Однако школьная рутина тяготила его. Будучи перфекционистом, он не мог относиться к ней формально или пренебрегать частью административной деятельности в пользу исследовательской. Обязанности свои он исполнял очень добросовестно, но неоднократно жаловался, что педагогическая деятельность не оставляет ему сил и времени на научные занятия. Возмущало его в школьной среде и грубое обращение начальников с подчиненными, учителей – с учениками. Например, он с ужасом вспоминал, как в Нови Саде в гимназии, где он был директором, ученик скончался от побоев учителя.

Пришлось делать выбор и А. Е. Викторову. Чуждаясь политики и публичной общественной деятельности, он посвятил исследовательскую энергию и свои познания кропотливому поиску, атрибуции, сохранению, изданию и популяризации памятников письменности и истории средневековой Руси. Викторов приобрел авторитет в научном сообществе как археограф, исследователь и знаток древнерусских памятников письменности рукописного отделения Московского публичного и Румянцевского музеев. Имея способности, подготовку, блестящие исследовательские и аналитические навыки, что продемонстрировано в его самостоятельных научных работах, он избрал «круг занятий – исследователя памятников, ищущего не выводов, а данных, без которых дельные выводы невозможны» (Срезневский 1881: 10).

Расширение коллекции и обустройство библиотеки Викторов считал своей главной обязанностью и занимался поисками и приобретением рукописей и старопечатных книг самоотверженно, если не сказать страстно. По свидетельствам современников, если бы имел он собственные средства, «ни на минуту не задумался бы ценою их расширить хранилище» (Некрасова, Викторов 1884: 430).

В заботах о новых поступлениях «он обыкновенно переживал все муки, какие переживает влюбленный, неуверенный во взаимности. Мучился, волновался, лишался аппетита, не спал ночи, если встречались неудачи в задуманных планах. И пока вопрос оставался нерешенным, он был задумчив, угрюм, малоразговорчив и даже зол» (Там же: 430). За время работы Викторова без всяких денежных затрат со стороны музея было приобретено около трети всех старопечатных книг, пополнивших рукописное собрание (Срезневский 1881: 10).

Коллега и современник А. Е. Викторова, известный славист И. И. Срезневский (Там же: 11) сожалел, что этот замечательный талантливый ученый из-за самоотверженных и нужных, но несколько рутинных трудов по созиданию музея и его развитию оставил неоконченными и в конечном счете удалился от «работ не менее важных, но требующих не столько самоотвержения в труде, сколько сил ума, разумеется, оснащенного знаниями». Но для Викторова это был сознательный выбор: «Музей для него был нечто святое, заменял все земные привязанности» (Некрасова, Викторов 1884: 428).

Таков же был и его друг и однокашник В. М. Ундольский. П. А. Безсонов, характеризуя круг ярких палеографов 1840-х годов,

прославивших российскую гуманитаристику, пишет об Ундольском: «Собрание библиотеки, которому отдался он с первых шагов деятельности – вот что сосредоточивало его, поддерживало его в искушениях, спасало от уклонений, питало и возвышало душу. Это было дело бескорыстной, пламенной, терпеливой, неотступной любви к русскому просвещению, к его истории, к памятникам. И при богатстве сокровищ своих, оставался бедняком» (цит. по: Барсуков 1880: 9). Сам Ундольский 20 января 1850 года в черновике письма к графу Д. Н. Блудову признается, что он – «человек, всю жизнь свою посвятивший описанию и обозрению русских книгохранилищ, добровольно отказавшийся от всех денежных выгод из чистого желания быть полезным по мере сил своих науке и Отечеству» (ОР РГБ. Ф. 704. К. 24. Ед. 19. Л. 5 об.).

Слависты середины XIX века старались как можно меньше касаться вопросов политики, считая невозможным и неуместным смешивать науку и политическую активность. «Самые замечательнейшие и ревностнейшие из этих патриотов-писателей, как Шафарик, Палацкий, Юнгман и пр., всегда действуют с необыкновенным благоразумием, осторожностью», – писал один из комментаторов (цит. по: Досталь 1995: 77). Например, о революции в Австрии в 1848 году находим в письмах П. И. Шафарика всего одно упоминание: «У нас в Праге теперь великое брожение умов: время для науки неудобное. Кровь до сих пор не пролита, и порядок и общественное спокойствие не были нарушены, но все от малого до старого вооружено по самые уши...» (Письма... 1895: № 66).

Ярко характеризует отношение Шафарика к политической деятельности история с обществом «Панславистское братство», якобы основанным при его участии. Узнав о публикации материала о существовании тайного общества, одним из учредителей которого он будто бы являлся, ученый написал резкое по тону опровержение, где даже упомянул возможность обвинения корреспондента в клевете, если он публично не возьмет назад свое вымышленное заключение. Переписка с наместником Чехии графом Хотеком шла до тех пор, пока ученый не убедился, что власти в Вене уверены в его полной непричастности и неведении об одиозном обществе (Вольф 1912).

А. Е. Викторов был также равнодушен к политике, полагая, что смешно и даже глупо рассуждать об идеальном устройстве общества, пока «мы еще грамоте хорошенько не знаем, правильно пи-

сать не умеем. Ну куда же нам пока до политики? Учиться надо...» (цит. по: Некрасова, Викторов 1884: 434).

Беспокоили славистов затруднения в пересылке книг и писем, которые проверялись австрийской почтой и цензурой. Например, П. И. Шафарика удручает не столько факт вскрытия писем и ограничения в пересылке корреспонденции, сколько штрафы из-за забывчивости или небрежности своих корреспондентов. Он просит друзей учитывать обстоятельства и соблюдать все государственные требования в этих вопросах: «Прошу Вас, посылая книги, не класть с книгами в посылку запечатанных писем, потому что это запрещено и за это штраф. Открытое письмо вложено быть может, но только к тому, кому посылается посылка, ничего больше. В последней посылке г. Ганке из Вены было запечатанное письмо ко мне. А так как посылки перед вручением вскрываются, то я должен был уплатить штраф. Вы хорошо знаете, что письма наши касаются только литературы, мы могли бы их и по почте посылать открытыми, если бы на почте не требовалось прикладывать печать» (Письма... 1880: № 80).

Круг открытых тем для литераторов и историков Австрийской империи был ограничен. Например, Зубрицкий на просьбу Погодина написать о Брестской унии 1596 года отвечает: «Мне, в своих обстоятельствах и отношениях, и всякому здешнему русскому не дозволено заниматься этим делом: поводы я Вам изустно объявлю. У нас ни истории, ни материалов сего рода нельзя издавать» (Там же: 551). В следующем письме он добавляет: «Даже и опасно у нас для молодых людей и их будущего произведения в духовный чин или какую-либо должность заниматься русскою литературою»<sup>1</sup> (Там же: 552). Не раз упоминает ученый об отказах австрийской цензуры в предоставлении книг: «Вам известно, что мне отказано читать русские законы...» (Там же: 568), за употребление русского языка «подозревают в симпатизировании Московщине...» (Там же: 587). Показательный казус произошел при издании музыкального обзора. Слова «крещендо и декрещендо» были приняты цензором за русские и перечеркнуты. «Еле-еле удалось доказать, что это итальянские музыкальные слова» (Там же: 588) и не имеют к крещению никакого отношения.

---

<sup>1</sup> Под литературой подразумеваются все виды научной деятельности, связанные с последующей публикацией результатов.

Обсуждая с Погодиным возможности публикации своих трудов Обществом истории и древностей российских в Москве, Зубрицкий пишет: «Печатайте как Вам угодно, на русском или на польском языке, даже и с употреблением моего имени, но под заглавием “Отрывки из большой истории галицко-русского народа”. Издавать целые свои труды вне государства<sup>2</sup> у нас запрещено, но отрывки могут появляться в чужих странах без всякой ответственности» (Письма... 1880: 550). В итоге он передумал печатать свое произведение в Москве, так как в этом случае было бы трудно доставить и распространить его в Галиции и от его труда не было бы ожидаемой пользы для соотечественников.

Комментируя политическую ситуацию накануне событий 1861–1864 годов, Зубрицкий чувствует надвигающиеся волнения: «У нас, кроме жидов, нет сословия, довольного своей судьбой» (Там же: 620). Среди причин усиливающегося всеобщего недовольства в Австрийской империи он называет коррупцию и сочетание крайней бедности населения с крайней расточительностью чиновников. Ученый опасался, как бы возмущения не перекинулись в любимую им Россию. В письмах Зубрицкий твердит словно заклинание: «Желал бы, чтобы Россия обнеслась каменной китайской стеной от зараженной Европы западной, ибо тлетворная ее язва уже обложила окрестности России» (Там же: 618).

В одном из последних посланий Погодину он рисует мрачно-красочную картину общественных настроений в Галиции: «Какая-то зловредная шаль завладела умами жителей всех провинций: все волнуется, требуют дерзко какой-то народности, автономии, сеймов, исключительного употребления своего наречия в присутственных местах и школах, собираются на сходки, шумят, толкуют, хулят немцев, порицают правительство. Словом сказать, наше государство колеблется в своих основаниях, выходит из своих пазов и клонится к разрушению... Если же шумят и обуреваются флегматические немцы, чехи, хорваты и румыны, то можете себе представить, что делают охотники на все возмущения – поляки. Как бы волшебным жезлом тронутые, в мгновение переделались в польское, кажется уже прежде заготовленное на этот случай платье, недели разного вида и рода шапки, сабли и мечи, собираются и шумят, восставляют за Днепром границы будущей Польши, злословят Рос-

---

<sup>2</sup> Имеется в виду Австрийская империя.

сию, служат по костелам торжественные панихиды и поминки бунтовщикам против России (1794 и 1831 г.)» (Письма... 1880: 619–620).

Редкий для П. И. Шафарика случай, когда он высказался по политическому поводу, связан с подавлением польского восстания 1830 года. В данном случае политические убеждения Шафарика совпадали с его личным и научным этическим кодексом. Чешский патриот выражает сочувствие полякам и резко критикует действия российских властей: «Каким образом, растоптав это благороднейшее и поистине рыцарское славянское племя, можно положить основание будущему единству славянских народов? В падении Польши мы должны оплакивать падение всего славянства» (цит. по: Лавров 1897: 23–24).

П. И. Шафарик разграничивал личные контакты и свое отношение к политике государственной администрации. В России у Шафарика было множество друзей и почитателей. Например, О. М. Бодянский считал себя его учеником, а его особый пietet к Шафарикау вызывал порой добродушные подшучивания коллег. В одном из писем к Срезневскому Прейс сообщает, что венский министр просвещения «просил его не говорить на лекциях ничего политического», прибавив при этом: «Немножко досталось от министра и Москве, в особенности Бодянскому. И поделом! У москвичей только славяне во всем чисты и правы, только виноваты австрийцы и мадьяры. С этим я вовсе не согласен. Москва не может существовать без святых. Будто бы их мало без Шафарика, Ганки и иных. Я все поджидаю, что Погодин с товарищами сочинит тропарь или кондак которому-нибудь из своих славянских приятелей» (Письма... 1895: 82).

Важное место в системе этических взглядов славистов занимал вопрос о приоритете в научных открытиях в период бурного роста числа открываемых памятников славянской литературы и новых фигур славянской истории и культуры. В середине XIX века еще не были до конца сформированы критерии, по которым определялось первенство и даже само авторство в открытиях. Еще не устоялось мнение о том, *что* служит окончательным утверждением научного открытия и введением в научный оборот нового источника или памятника письменности и культуры: обнаружение рукописи и ее датировка, идентификация ее автора, ознакомление с открытием широкой общественности, его признание в кругу специалистов,

научного сообщества; или, наконец, публикация произведения, публичный доклад и посвященное ему исследование.

Вместе с тем признание коллег и совместное продвижение в изучении истории, культуры и литературы славянства, научная истина и объективность для многих участников исследовательского процесса стояли выше вопросов первенства в печати и в глазах публики. Как случается и сегодня, в вопросах признания и приоритета определенную роль играли также личные связи и симпатии, дружеские контакты внутри сообщества ученых, круг постоянного общения, общественное положение, а порой и занимаемая административная позиция или даже государственная должность. Именно в силу названных причин из методической плоскости вопросы признания научного приоритета рассматриваются в ракурсе этических принципов научного мира середины XIX века.

Рассмотрим эту проблему на примере открытия произведений и личности болгарского епископа и проповедника X века Климента Охридского. Почти одновременно его произведения обнаружили три исследователя: молодой выпускник Московской духовной академии, сотрудник архива Министерства иностранных дел В. М. Ундольский, один из корифеев славяноведения П. И. Шафарик, а также его друг и протеже, профессор кафедры славяноведения Московского университета О. М. Бодянский. Ундольский открыл тексты произведений Климента и связал их с именем епископа Словенского, ученика св. братьев Кирилла и Мефодия. Однако он «не решался сказать об этом печатно, из опасения, чтобы это открытие, как и многие другие, не кончилось ничем, к стыду и досаде открывшего» (ОР РГБ. Ф. 704. К. 1. Ед. 5. Л. 4). Шафарик «вычислил» Климента по описи рукописей А. Х. Востокова, даже не видя самих текстов. Бодянский же обнаружил новые произведения Климента уже после открытия Ундольского, но до Шафарика и сообщил о них коллегам раньше их первооткрывателя.

Возникла коллизия, существующая в науке и по сей день: что именно считать открытием – факт обнаружения феномена, его объяснение, публикацию результата или признание первенства со стороны научного сообщества. В письме Ундольского к Бодянскому отмечено, что еще в 1842 году о некоторых своих занятиях и открытии *Похвальных слов* Климента он рассказал тогдашнему своему начальнику, князю Оболенскому, «прочитал ему все эти три слова и просил довести до сведения Общества...» (Общество истории и древностей российских. – Т. С.; см.: Климент 1970, т. I: 13).

Лишь через три года после открытия произведений Климента В. М. Ундольский смог публично сообщить о нем. Одну из причин находим в его письмах: «Князь возложил на меня управление по дому; переписку, корректуру нескольких печатных книг, служить в Архиве, расходовать всю издерживаемую сумму, ведя тщательно до нескольких книг (столовую, приходную, расходную, вотчинную, адресную, долговую), надсматривать за постройками» (ОР РГБ. Ф. 704. К. 24. Ед. 9. Л. 26). При всей занятости Ундольский готовился сообщить в печати о своей находке, подбирал и копировал рукописи, приводил в порядок записи, о чем говорят заметки в его блокноте, датированные осенью 1842 года. В мае 1843 года Ундольский узнал, что П. И. Шафарик тоже обратил внимание на сочинения Климента: «...г. Погодин упомянул, что Шафарик открыл сочинения Климента Болгарского. В это время я показал ему копию с трех Слов Климента Епископа Словенска, со списка 13 в., сделанную мною в 1840 г.» (ОР РГБ. Ф. 704. К. 1. Ед. 5. Л. 33).

Ундольскому было приятно, что его мнение совпало с мнением такого авторитета в науке, как Шафарик, тем более что его собственные выводы о Клименте были сделаны на три года раньше. Ундольский старается подчеркнуть самостоятельность своих заключений: «Не зная тех причин, в силу которых Шафарик не усомнился приписать сии Слова Клименту Болгарскому, я шел своим путем» (ОР РГБ. Ф. 704. К. 1. Ед. 5. Л. 33 об.).

Итак, независимо друг от друга, с разницей в три года ученые открыли разные произведения одного и того же автора и почти одновременно сообщили о своих выводах коллеге, возглавлявшему официальное печатное издание славистов «Известия Общества Истории и Древностей Российских» Погодину. Ундольский пишет Бодянскому о реакции Погодина на сообщение об открытии творений Климента: «Радость была обоюдная, всеобщая. Казалось, что г. Погодин тот же час объяснит о соображениях Шафарика и моей находке. Но вышло иначе. Письма Шафарика были напечатаны, а обо мне ни слова. Исследование мое о Клименте представлено Обществу только 16 октября... Протокол напечатан только через год» (Климент... 1970: 25). Об этом факте Ундольский сообщил в докладе 1845 года, впоследствии опубликованном. Здесь мы должны учесть, что П. И. Шафарик был личным другом Погодина и поддерживал с ним оживленную переписку.

Шафарик начинает активно заниматься Климентом, как следует из его сообщений, в июне 1846 года. В письме к О. М. Бодянскому

от 11 июня он рассуждает о подготовке к изданию Иоанна Экзарха и Климента. В нем нет ни слова о докладе, прочитанном Ундольским.

О славянском просветителе чешский ученый определенно говорит лишь в письме 1847 года, уже со ссылкой и пожеланиями успеха Ундольскому как издателю его трудов, а также просьбой передать, что Шафарик имеет доказательства об авторстве Климента известного древнейшего жития св. Кирилла. В следующем письме от 8 декабря 1847 года он также передает «поклон всем приятелям, знакомым и незнакомым, в особенности Ундольскому. Помоги ему Бог при издании Климента» (Письма... 1895: № 61).

Бодянский, узнав о работах Ундольского, признал несомненный его приоритет в открытии: «...г. Шафарик и я были упреждены открытием творений Климента В. М. Ундольским» (ЧОИДР 1848: № 7). Шафарик же не вступал в дискуссию о том, кому принадлежит приоритет в открытии произведений и самого имени Климента Словенского, считая более важным представить его труды научной общественности как можно скорее и полнее.

Свое личное мнение он высказывал в переписке с друзьями вполне определенно, «выражая желание делиться результатами занятий и до выхода своих статей или исследований и печати» (цит. по: Лавров 1897: 72). Публикацию памятников письменности П. И. Шафарик считал более важной для их популяризации в широких кругах просвещенного общества, неоднократно настаивая на том, чтобы изданные сочинения древних авторов были понятными как можно большему числу читателей.

Таковы были этические воззрения ученых-славистов середины XIX века, чьи не всегда заметные, порой драматичные, но неустанные труды создавали отечественную гуманитаристику. Их убеждения нашли свое выражение не в громких лозунгах и публичных дискуссиях, а в повседневной жизни и трудах. Их непоказной патриотизм выразился в том, что условия существования были для них лишь фоном, благоприятным или не слишком, но не способным заставить изменить идеалам. А главным их идеалом и этическим принципом было бескорыстное служение избранной науке.

### *Литература*

**Барсуков, Н. А.** 1880. *Русские палеологи 40-х гг.* СПб.: Тип. В. И. Грацианского.

**Викторов, А. Е.** 1859. *Библиотека и историческая деятельность Московской Синодальной типографии.* М.: Московские ведомости.

**Вольф, И.** 1912. *Панславистское братство Коллара, Палацкого и Шафарика*. Варшава: Тип. Варшавского учебного округа.

**Досталь, М. Ю.** 1995. Шафарик и русские славянофилы в 40–50-е гг. XIX в. В: *П. И. Шафарик. К 200-летию со дня рождения ученого-слависта*. М.: РАН, Ин-т славяноведения и балканистики.

**Истрин, В. М.** 1922. *Книги временья и образья Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе*. Т. 2. Пг.: Издание Отделения Русского языка и словесности Российской Академии Наук.

**Климент Охридски.** 1970. *Събрани съчинения*. София: БАН.

**Кулаковский, П. А.** 1897. *П. И. Шафарик. По поводу столетия со дня рождения*. СПб.: Тип. В. С. Балашова и Ко.

**Лавров, П. А.** 1897. *Шафарик. Жизнь и ученая деятельность*. М.: Тип. Лиснера и А. Гешеля.

**Медведев, И. П.** 1996. *Письма В. М. Ундольского к А. А. Кунику в Санкт-Петербургском филиале архива РАН, Архивы русских византистов в Санкт-Петербурге*. СПб.: Изд-во Ин-та российской истории, Санкт-Петербургский филиал.

**Некрасова, Е. С., Викторова, А. Е.** 1884. Очерк по письмам и личным воспоминаниям. *Русская старина* 43: 425–448.

**Письма к Погодину М. П.** из славянских земель 1835–1861. 1880. М.: Изд-во Императорского Общества Истории и Древностей Российских при Московском Университете.

**Письма П. И. Шафарика к О. М. Бодянскому (1838–1857), с приложением писем Шафарика к В. И. Григоровичу (1852–1856).** 1895. М.: Тип. Московского ун-та.

**Срезневский, И. И.** 1881. *Несколько припоминаний о научной деятельности А. Е. Викторова*. СПб.: Отделение русского языка Императорской Академии Наук.

**ЧОИДР.** Чтения в Обществе истории и древностей российских: в 162 т. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1840–1907.

**Архивы:**

**ОР РГБ** – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки.